

Три рассказа о любви

"Я всегда был оптимистом и очень любил жизнь"
Юрий Олеша

Нас в Одессе было трое популярных поэтов: Багрицкий, Катаев, Олеша.
На этой тройке Одесса и въехала в Москву.
Валентин Катаев

"Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще,
В гимназической куртке с большим ремнем
В фуражке, плоской как блин.
Лицо его было голубым.
Такой голубизной
Фарфор отликает, да скорлупа
Иволгина яйца.
Лоб, нависающий на глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок его торчал
Кудесничьей бородой.
Я понял, что этот вот человек
И есть душа синева.
Что тяжестью погibших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совмещал в себе
Скорбящий умирающий мир
В его последнюю ночь".

Это — Юрий Олеша в поэме Багрицкого "Последняя ночь". Вернее, в черновом ее варианте. Позднее Багрицкий изменит последние строки, и Олеша будет совмещать в себе уже не "умирающий мир", а

Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.

Это, конечно, более оптимистично звучит, но все же первый вариант написанной в 1932 году поэмы точнее пророчит будущее писателя Юрия Карловича Олеша.

У Багрицкого — первая встреча летом 1914. А через три года Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев — наиболее заметные фигуры литературной жизни города из

нового поколения поэтов. Особенно Олеша, в отличие от артиллериста Катаева, не воевавший и не покидавший Одессу. В 1917 он становится одним из ведущих авторов знаменитой "Бомбы" — журнала революционной сатиры. Он художник и автор подписей к карикатурам (в те годы это не так уж и часто совпадало). Он сатирик и лирик, поэт и драматург, прозаик и сценарист. В журналах 1917-1919 годов отрывки из его драм, стихи, рассказы и даже сообщения о принятых к производству сценариях.

Одна пьеса была поставлена на сцене. В 1918 году "Южный огонек" сообщил: "В среду 24 (11) апреля в зале Консерватории состоится 4-й вечер "Зеленой лампы". Идет пьеса Юрия Олеша "Маленькое сердце". В главных ролях выступают Мария Шапиро и Б.К. Бобович". Помощником режиссера был В. Катаев.

Как исполнитель главной роли, так и помощник режиссера сочли необходимым посвятить свои произведения драматургу. Опубликованы они были в журнале "Южный огонек", авторами которого являлись все трое. Похоже, Бобовичу роль не очень понравилась, потому что посвященное "Дорогому Юр. Олеше" стихотворение начиналось со строк "Годами тлела злоба...". Катаев оказался более благодарным. Он обошелся без эпитетов, написав просто: "Посвящаю Юрию Олеше". Рассказ назывался тоже неприятно: "Поэт".

"Жил-был юноша семнадцати лет, который с детства писал стихи. Писал он про любовь, про луну, про соловьев и аккорды, звучавшие у него в душе. Все находили его стихи прелестными и говорили о нем так:

— О, со временем из него выйдет знаменитый поэт.

Девушки записывали его стихи в свои бархатные альбомы и тайно плакали над ними. Но юноше этого было мало. Он хотел настоящей славы и мучился потому, что не мог в своих стихах выразить и сотой доли того, что его волновало. Поэтому он часто придумывал стихи. Придумывал, а не писал". И юноша обращается за советом к великому писателю-отшельнику. Получает совет — не писать искусственные стихи, а прислушиваться к окружающему миру. "Юноша пошел по мокрой траве и смотрел, и слушал, и впивал в себя росистый воздух. Новые образы и рифмы бродили у него в голове, и он по привычке уже собирал строчки про утро в горах, про росу и орлиные крики. Потом взошло солнце, и было оно так красиво, что ему захотелось писать стихи о солнце. Потом наступил полдень, и ему захотелось писать о цветах, рассыпанных в траве. Он даже придумал образ, что цветы в траве похожи на краски на палитре художника.

И так он все ходил, слушал, прислушивался, ловил неясные образы, сплетал рифмы,пил горный воздух и чувствовал всей душой, всей своей плотью и кровью красоту мира. Как очарованный бродил он много дней и потом забыл, что он поэт, что ему надо писать стихи. Все забыл. Только слушал, прислушивался и молился. И его душа стала сама по себе напевной и похожей на стих. В долину он не возвратился и все считали его погибшим".

Это впервые Олеша появляется на страницах прозы Катаева. Потом будет и "Бездельник Эдуард" в 1925 — о веселой троице поэтов, и "Алмазный мой венец" в 1978, где появляется "ключик". Их непростые отношения, то ли дружба-вражда, то ли зависть двух талантливых поэтов (ведь Катаев пишет о самом начале, о начале двадцатых годов).

Как ни странно, ни Катаев, ни сам Юрий Карлович не упоминают ни словом ранние рассказы Олеси. Поэт — иного определения для одесского Олеси ни у кого не находится. А ведь три его рассказа были опубликованы в 1918. И в них уже угадывается будущий "король метафоры", автор "Зависти" и "Любви".

Алена ЯВОРСКАЯ

Рассказ об одном поцелуе

Над каждой ложей между двумя лепными амурами висел матовый фонарь, похожий на дорожную писанку.

В красной темноте ложи стояли молодые люди в черных смокингах с блестящими отворотами и старики с розовыми лысынами, напоминавшие пуделей.

Над барельефами, украшенными облупившейся позолотой, оперев локти о малиновую обивку барьера, сидели дамы, и плечи у них были оголенные и красивые, а талии схвачены легкими тканями или темным мягким бархатом.

При каждом повороте головы или движении руки, то на шее, среди кружев, в узком мысе холодного тела, то на пальцах, то в ушах под тяжелыми волосами — загорались разноцветные огоньки, вытягивая длинные острые лучики.

В бинокль, в малиновом овале, были видны их лица с глазами, сиявшими голубым блеском и необычно длинными от глубокой синевы, с алыми губами, говорящими что-то неслышное, что слилось в ровный, журчащий, неумолкающий шум, с биноклями, поднесенными к лицу, в тонких пальцах с блестящими ногтями.

В партере, похожем на раскрытую коробку конфет, веяли воздушные платья, склонялись плоские проборы кавалеров, маячили ослепительные манишки, золотые погоны и оскаленные воротники, затягивавшие, как петли, чахлые шеи стариков.

Над двумя многостворчатыми дверьми горели немигающим светом красные фонари, похожие на лампочки, при которых проявляют снимки, а у косяков стояли в аккуратных бачках, как будто заgrimированные, капельдинеры в красных с синим ливреях с золотыми позументами.

Занавес с Русланом, разящим страшную голову, казался сделанным из тяжелой желтой парчи, и на большую раковину была похожа суфлерская будка.

Погас свет, зазвенел звонок сразу в трех местах, отдавшись чистым переливом под какими-то невидимыми сводами, и низ занавеса осветился ярко от вспыхнувшей ramпы, в то время как верхняя его часть осталась в лиловом полумраке.

В пролеты дверей, внезапно ставшие темными, торопясь проходили запоздавшие, чуть усилился шелест платьев и шарканье ног, и вдруг все сразу насторожилось, только в одной ложе кто-то прошел в двери, бросив обрывок желтого света, отчего блеснуло зеркало в темноте, и гулко ударил дверью.

Неожиданно появившиеся музыканты, совсем маленькие внизу, заиграли, когда маэстро взмахнул, как игрушечный, руками.

Скрипачи, сидя в ряд и склонив в одну сторону головы над скрипками, упершимися в белые платки под их подбородками, одновременно размахивали локтями, вытягивая тонкие, похожие на золотые дрожащие рапиры, ноты.

В это время через вестибюль, где была лестница, покрытая пурпурным ковром, с балюстрадой из мрамора такого цвета, как кофе, прошел в двери, ведущие в зрительный зал, золотоволосый юноша, одетый в черное. Стараясь ступать тише, он пробрался к своему месту в близком ряду и сел.

Перед собой он увидел спину седой дамы, а рядом молодую девушку, которая смотрела в бинокль, держа близко от золотоволосого юноши голый локоть.

Струился приятный аромат, получившийся оттого, что смешались все запахи духов с запахом старой материи, которым тянуло со сцены.

Золотоволосый юноша чувствовал себя хорошо и оттого, что взглянув мимоходом в вестибюле в зеркало, которое шло до потолка, вправленное в барельеф между двумя рядами электрических ламп, он нашел, что сегодня он бледен, и что это очень идет к его золотым волосам, и от присутст-

вия нарядной публики и красивых женщин и от приятного вкуса ликерной конфеты, который остался во рту, хотя съел он ее еще после обеда, стаяв у сестры Зои.

Девушка, сидевшая в кресле рядом, через несколько минут после того, как он сел, отняла бинокль от лица и посмотрела на него блестящими веселыми глазами.

От движения головы метнулись и заблестели сережки, и нельзя было узнать, что блесло больше: сережки или глаза.

Золотоволосый юноша заметил, что ей захотелось улыбнуться, потому что, вероятно, она тоже себя чувствовала хорошо.

Потом, до конца акта, она глядела в свой бинокль, слегка склонившись влево и положив одну руку на поручень кресла.

II

Окончился акт.

Артисты, трое, держась за руки, выходили раскланиваться перед чуть оттянутой створкой занавеса, и теперь оттого, что был опущен желтый занавес и горела рампа, неприятно был замечен их грим, и белки глаз казались совсем голубыми.

Зажглись опять фонари над ложами и люстра, вверху, на страшной высоте, оранжевыми жемчужинами, похожая на повернутую книзу шапочку сказочного паж.

Золотоволосый юноша встал, чтобы дать проход девушке, сидевшей рядом. Она, извинившись, прошла близко возле него, повеяв духами и чуть задев его руку холодным браслетом, на котором звенела цепочка.

Он повернулся к сцене, и, оглядывая публику, увидел во втором ряду сидящую к нему спиной даму.

От шеи, широкий сначала и постепенно суживающийся к низу, вырез в черном блестящем шелке обнажал ее плечи. Она сидела, поднеся обнаженную руку к подбородку и немного подавшись вперед, от чего между лопаток легла у нее мягкая складка, и шелк неуловимо красивыми линиями сбегал к ее коленям.

Золотоволосый юноша подошел ближе и увидел, что волосы у нее были того красивого оттенка, который бывает у светлых шатенок, а плечи такого цвета, как страница старого молитвенника. И эти плечи заполнили все его сознание, как будто он видел их всегда и только не знал, что это они, как будто то, чего бы он когда-либо захотел, как самого ценного во

всем мире, это была бы именно возможность поцеловать эти плечи в вырезу черного блестящего шелка.

Он даже поднес руку к лицу.

"Я поцелую ее плечо, да, поцелую".

Он прошел к барьеру, отгораживавшему оркестр, посмотрел на виолончелиста, который ел мятные лепешки, повернул и лицом к публике пошел по проходу, чтобы увидеть ее спереди.

Он увидел ее лицо и кольца, отяжелившие ее пальцы, которые она держала у подбородка. Коричневые глаза, слегка оттененные, взглянули на него. И прежде, чем глаза их встретились, он успел заметить, что рот у нее был большой и очень красный, а волосы слегка завиты.

"Я ей нравлюсь", — подумал он.

Она, не отводя взгляда, как ему показалось, расширила глаза, немного откинулась назад, и губы у нее шевельнулись, сдержав ласковую улыбку.

Это было делом одной минуты.

Уже проходя мимо, он увидел ее обнаженную руку в коротком рукавчике, веснушчатое лицо и жидкий пробор господина, который сидел с ней рядом, но, видимо, не был с ней знаком.

Золотоволосый юноша пошел дальше между рядами по коврику, загнувавшему шаг.

"Поцелую ее в плечо! А что будет?.. Воображаю. И все равно. Это интересно".

Дрожь от головы к ногам прошла по нему, и ему припомнились те сны, которые снились ему в детстве, и когда, видя сон, он знал, что это сон, и не боясь, делал все, что ему хотелось.

Он принял такое положение, чтобы видеть ее.

Она сидела уже иначе, и он решил, что она, вероятно, повернулась, ища его глазами, покамест он шел к своему месту.

Теперь немного был виден ее профиль, и издали, от освещения, была заметна влажность ее рта.

"Да", — решил золотоволосый юноша.

Трехтонно зазвенел звонок, и погасли оранжевые жемчужины, только матовые фонари над ложами еще горели. Ряды пополнялись. Опять ему пришлось встать, чтобы пропустить свою соседку. Она прошла, чуть склонив голову и приподняв согнутую руку, чтобы не задеть его браслетом, на котором звенела цепочка.

"Ну, что будет! Ничего не будет. Получу пощечину".

И чувствуя, как теплые волны хлынули к ногам, сделав их тяжелыми,

а сердце заставив ускоренно биться, — он встал, удивив соседку, которая уже пристраивала свой перламутровый бинокль, и медленно пошел к тому ряду, где сидела дама с красивыми плечами.

Он увидел чьи-то спины и чей-то висок с рыжеватыми волосами. Потом перед его глазами очень близко и вместе с тем как бы и не тут, а где-то в прошлой жизни, были ее плечи с мягким углублением между лопаток, матовый блеск черного шелка и красноватый огонек, как Сириус, в ее кольце на пальце обнаженной руки, которую она поднесла к голове, чтобы поправить завиток волос.

В то же мгновение стало темно, низ занавеса сделался ярко-желтым с четкой тенью суфлерской будки, и красный Сириус потух, потому что дама опустила руку.

Золотоволосый юноша, чувствуя, что на него все ближайšie из зрителей смотрят с удивлением, нагнулся и поцеловал даму в плечо, как раз в том месте, где начиналась шея. Было мгновенное неизъяснимо-приятное ощущение теплоты на губах, которое вызвало такое же мгновенное и ушедшее в глубины души чувство непонятной нежности, такое чувство, будто в нем сосредоточилась вся сила любви, которую он испытывал когда-либо или только будет испытывать.

И пока еще ничего не произошло, в тот мгновенный промежуток мига, пока он смыкал губы, его охватил запах, исходивший от нее и похожий на тот, которым пахло от смятой постели его сестры Зои.

Вскочил чей-то жилет, и чьи-то глупые голубые глаза испуганно посмотрели. Кто-то сбоку сказал: "Боже!".

Она вздрогнула, двинулась вперед, точно кто-нибудь прикоснулся к плечу куском льда, привстала и повернулась так, что одна ее рука, мягко изогнувшись, осталась на спинке ее кресла, а другая напряженно уперлась в спинку бывшего напротив кресла.

Он почувствовал, что краснеет, и почему-то неловко дернул рукой.

Но потом он увидел, что лицо ее стало другим — из удивленного веселым.

Она протянула ему обнаженную руку, чуть согнутую в локте, и, слегка закинув лицо с большим очень алым ртом, сказала и не громко, и не тихо:

— Вы красивый и смелый.

Он пожал ее пальцы.

Она повторила:

— Вы красивый и смелый. Я на это не решилась бы.

— Тише! — сказал кто-то недовольно. Кто-то засмеялся.

Она еще раз протянула ему руку, и опять у нее губы шевельнулись так, как будто сдержали ласковую улыбку или как будто после поцелуя.

Потом она светло улыбнулась.

Маэстро взмахнул руками, точно нарисованный на плакате, и оркестр заиграл.

— Идите садитесь, золотоволосый.

Он пошел к своему креслу, сопровождаемый взглядами, и встретила его улыбкой девушка с голыми локтями, сидевшая с ним рядом.

III

В антракте она встала и, мягко ступая и чуть наклонившись вперед, подошла к нему. Прежде чем заговорить, она посмотрела прямо в глаза ему широкими зрачками своих коричневых глаз.

Он встал.

Она улыбнулась.

Золотоволосый юноша видел ее близко: черный блестящий шелк таким же вырезом открывал ее груди, схватывая плотно талью и расходясь к ногам шумящими складками. Покачивались от каждого движения головы завитки волос над висками, и поблескивали, то потухая, то вспыхивая, кольца на руках.

— Это самое оригинальное знакомство, — сказала она.

— Подождите, может быть, сегодня еще кто-нибудь прибегнет к такому способу.

— Это уже будет не оригинально.

После паузы она добавила:

— Вы мне нравитесь. У вас удивительные волосы.

Когда спектакль окончился и поднялся шум от закрываемых дверей, от запоздалых хлопков, от слов, от шелеста платий и от того, что кто-то на галерке звучным баритоном повторял последнюю фразу премьеры, она подошла к нему и, сделав такое движение, точно хотела опереться об его руку, сказала:

— Ну, мой мальчик, вы меня проведете домой.

— А это не страшно?

— После того, что вы сделали, вам нечего уже бояться. Только будьте до конца оригинальны.

В гардеробной, где была толкотня и веселый шум, он помог надеть ей темно-лиловое манто с коричневым меховым воротом, в которое она за-

пахнулась так, что над мехом были видны только ее глаза. На шляпе у нее было белое перо в виде маленьких стрелок. Стрелки дрожали, и тяжелыми складками покачивался низ ее манти.

— Мы пройдем пешком, — сказала она, когда швейцар в длинной до пят ливрее с пятью пелеринками и круглыми, похожими на луны, пуговицами открыл перед ними дверь, и в стекле отразились огни и бледное лицо золотоволосого юноши.

— Мы можем поехать.

— Нет. Идем. Смотрите, какая ночь. Возьмите меня под руку.

В небе была луна и огромная галоша над куполом "Проводника". Звенел стеклами, громыхал трамвай, и лошади храпели, выпяливая кровавые глаза.

Она ответила ему такой же оригинальностью.

Когда они пришли к ней, она угощала его ликером, который горел, как золото, от света лампы в ее будуаре, где все было в желтых, теплых тонах.

Она отдала ему для поцелуев свои плечи и смеялась, когда он целовал их, и черный шелк, и обнаженные руки, и широкими зрачками смотрела на свое и его отражение в зеркале, и ее большой, очень алый рот как будто слегка шевелился.

Потом, когда прошло несколько дней, ему не верилось, что все это было в действительности. Как будто все это выдумал Шопен: и то, что золотоволосый юноша, одетый в черное, поцеловал в театре даму в плечо, и коричневые глаза, и лиловое манти, и прекрасные плечи, и руки цвета страницы старого молитвенника на белых подушках в пене кружев, и большой очень алый рот, целовавший темные глаза золотоволосого юноши.

Южный огонек. № 5, воскресенье 2 (20) мая 1918.

Конец студента Бахромова

I

Шансонетная артистка Лина Амеги жила на содержании у еврея Кенига. Как ни странно, но она была в него влюблена, хотя Кениг был наружности далеко не привлекательной и был стар — не так чтобы стар совсем, но достаточно потрепан и не имел зубов, которые заменил вставной челюстью, отчего и неприятно пришепывал.

Говорят, что женщина тяготеет вообще к силе, как бы она ни проявлялась; надо полагать, что Лину Амеги покорила сила денег: Кениг был вероятно богат.

То, о чем будет речь в рассказе, происходило летом, в исхода его, в разгаре сезона фруктов — в это время Кениг с Линой жил на даче, находившейся весьма близко к морю и недалеко от города, в той местности, что именуется славным именем французского графа, потрудившегося в свое время немало для процветания нашего города. Примечательными в этой даче, кроме ее хозяйки, было также и то, что на одном из балконов ее, повисшем над мшистым откосом, где внизу белели повернутые кверху дном рыбацьи шаланды, в золоченой клетке белый и нахохленный, не умолкая кричал какаду. Крик этот настолько стал обычным в этой местности, что даже мальчишки, бегавшее к морю, уже не дразнили птицу, и, казалось, перестань она кричать, то и солнце не так чудесно будет сиять, и трава в приморских сквериках не будет столь ярко-зеленой, и не так весело будет потрескивать упругая струя, бьющая узким веером из рукава старого садовника на золотой гравий и бесчисленные пахнущие перцем гвоздики.

Иногда на балконе появлялась очаровательная госпожа.

Снизу она казалась маленькой женщиной в лиловом платье. Ей солнце ослепляло глаза, и она подносила руку к лицу. К тому же она боялась загорать и, постояв несколько минут, чтоб посмотреть на чаек и коричневых людей на пылающем пляже, она уходила внутрь, за стеклянную дверь, отражавшую невероятно синее небо и золотой блеск облаков.

До обеда изящный и легкий кабриолет с ливрейным лакеем увозил ее по направлению к городу по асфальтовой, размякшей от солнца дороге между двумя посадками парка, где по одну сторону парк назывался "молодым" и состоял из невысоких деревьев, подстриженных на английский манер, а по другую — "главным", со старинными платанами, корявыми, точно изрытыми оспой, березами и, как полагается, "вековыми" липами, чьи стволы были исчерчены множеством вензелей и знаменательных надписей.

В городе очень часто Лину Амеги в обществе маленького и до некоторой степени франтоватого Кенига можно было видеть в партере или на скачках.

Словом, Кениг знал, как полагается вести светскую жизнь в рамках, предоставленных нашим городом.

Лина Амеги всегда была не кричаще, со вкусом одета, причем в нарядах ее преобладали лиловые тона. Шляпы она носила небольшие и очень

часто с черными бархатками, которые, прижимая у щек к вискам ее подстриженные волосы, делали ее похожей на средневекового пажа.

Дамы высшего круга смотрели на нее, усмехаясь слегка иронически, но и завистливо, и всегда лорнировали ее то на самом деле, то как будто мысленно. Очень многие избегали поклонов, и все называли ее так: "эта, затем многоточие, Амеги". Конечно, с их точки зрения, справедливой по своей общеместной применяемости, они были правы. Им не приходилось взвешивать душевные свойства ее, — а она ведь была только кафешантанная артистка и находилась на содержании.

В кафешантане, впрочем, теперь она уже не выступала, чем немало огорчала любителей этого жанра, так как лучшей исполнительницы танго не нашлось бы в южной полосе нашего государства.

II

Студент Бахромов за два года до того, как Лина Амеги ушла к Кенигу, имел несчастье увидеть ее в ночном *cabaret* "Девять муз", исполнявшей танго Анапа, которое входило тогда в моду, вместе с ее партнером *m-sieur Geordel*, покоровившим золотую молодежь нашего города потреблением кокаину и изумительной меткостью стрельбы из пистолета.

Студент Бахромов, дотоле никого не любивший, а имевший лишь связи с певицами из оперного хора и одну, очень длительную и прибыльную, с женой фабриканта Р., — с первого же взгляда почувствовал к прелестной танцовщице сильную и неодолимую любовь.

Все могло бы протечь вполне благополучно, если б в тот момент, когда товарищи представили ей Бахромову, она не была слегка пьяна шампанским и не заметила влюбленному юноше, что он напоминает ей белую мышь.

Бахромов запомнил узкую в длинной матово-поблескивающей перчатке, руку, разнузданно протянутую к губам какого-то господина в цилиндре, и теплый и влажный блеск глаз на слегка запрокинутом лице — и все это в освещении сверху, с головками хризантем, наклонившимися к нему из оранжевого полусвета, и негром, пляшущим Ки-ка-пу, на огромном плакате позади всей сцены, — осталось в его памяти, как отрывок когда-то виденной им кинематографической картины.

Слова танцовщицы наполнили его сердце горечью и невыразимой болью. С этих пор он оставил стремление познакомиться с ней ближе, но любовь его стала еще сильнее. Ко всему, ему приснился сон, где он уви-

дел себя маленьким, в шелковом голубом костюме и кружевным воротом у шеи, а Лину Амеги в виде девочки, одетой для верховой езды, в длинных матово поблескивающих перчатках. Они ели абрикосы из помятого кул-ка, и вдруг девочка поцеловала его в лоб. Поцелуй этот был так нежен, и сжал сердце его такой неизъяснимой печалью и сладостью, как это толь-ко бывает во сне.

Проснувшись, он понял, что выхода нет, что нечем ему жить, и что все пути потеряны. Тогда он стал обдумывать, и получалось так, как будто од-на мысленная тесемка закутывала его мозг по одним определенным швам, а другая — по остальным. Одни мысли были такие: "Ни одного мгновения не проходит без того, чтобы ты не думал о ней, без ее любви ты не мыс-лишь своего существования, твоей тоске — нет исхода, ты похож на белую мышь. Значит что? — Конец". А другая тесемка распутывалась таким об-разом. — "Все это чепуха. Нет такой горести или счастья, которые не бы-ли б забыты. Не надо романтизма. Время Принцивалле прошло. Выход — стараться забыть".

Бахромов знал, что забыть можно, но о том, чтобы сделать это, даже и думать было страшно. И он решил покончить с собой. Эта мысль пресле-довала целый год и становилась все настойчивее. К этому времени он стал прибегать к кокаину. Несколько раз он брал в руки *Colt* и наводил черное массивное дуло на себя. В эти минуты он сознавал свою трусость и почти лязгал зубами от внутренней дрожи. Тогда он решил отравить себя кокаи-ном. Но исполнение откладывалось, а тоска становилась невыносимей.

Лина Амеги, конечно, вовсе не помнила о студенте, похожем на белую мышь, и когда встречала его, то совершенно не замечала. У Бахромова же падало сердце и захватывало дыхание, так что ноздри чуть не разрыва-лись. И, удаляясь от места случайной встречи, он повторял про себя ту фразу, которая пришла ему в голову в один из таких моментов: "Любовь похожа на смерть".

Так прошло время до того дня, когда Лина Амеги поселилась на даче. Те-перь, бродя в июньские дни возле узорчатых решеток ее сада, где на камен-ных цоколях ограды болтались медные кольца в львиных мордах, Бахромов определенной вспоминал свой сон, как будто в этом сне было такое же изу-мительное небо, и так же сползали солнечные пятна по зеленым дощатым ставням; какие-то неясные и мучительно-неуловимые воспоминания детст-ва вспыхивали в памяти, точно он знал уже когда-то ее, и в какой-то весе-лый день девочки в розовых платьицах, похожих на цветок "львиную пасть", кричали кому-то через забор: "Ай, яяй, Линка! Ай, яяй, Линка!".

III

Однажды, подумав о самоубийстве, Бахромов почему-то увидел длинную вереницу богомолок, идущих по пыльной серой дороге. Это было необъяснимо, но это означало — Смерть.

Было воскресенье, конец августа. Воздух был напоен тем особенным, холодным и свежим ароматом, который характерен для этих предосенних дней. Этим запахом веяло от фруктовых магазинов, где розовые груши в плетеных корзинах были завернуты в тонкую папиросную бумагу, и от мясных лавок с входами, заваленными тяжелыми дынями в желтых подпалинах.

В этот день Бахромов решил умереть. Он боялся, что в последнюю минуту у него не хватит сил, и поэтому решил отрезать себе пути. Для этого он изобрел план наиболее верный и вместе с тем такой, который должен был сделать конец его жизни самыми счастливыми мгновениями ее.

Следя неотступно свою возлюбленную, он знал, что в этот день вечером она останется одна на даче. Почему не сделать хоть один раз, хоть перед концом, явь — сном. Ведь все равно никто уже не взыщет. Тем лучше — сделать так, чтобы жить более нельзя было.

Он решил пойти к ней.

Одна мысль об этом наполняла его сладким трепетом, заставляла испытывать такое чувство, которое он испытывал, идя на экзамен с хорошо выученным билетом.

Он приготовил все: написал письма к тем, кому считал нужным, расплатился с долгами, осмотрел револьвер и зарядил его шестью патронами, спрятав запасную обойму. План захватил его, как веселая затея, как если бы он собирался ехать туда, куда долго стремился, как будто он читал интересный рассказ, которого осталось несколько страниц.

Часов в шесть, когда еще оставалось немного времени до условленного часа, он пошел в кафе, находившееся на бульваре, и выпил в последний раз мазаграму.

Неожиданно у него началось сердцебиение. Это было неприятно, так же, как и то, что в голову, как часто это бывает при случаях особенно значительных, бессмысленно лезла фраза из какой-то сказки братьев Гримм:

"Меня мачеха убила, съел отец меня потом, а Карлинхен, та сложила в ворох кости под окном!.."

IV

Ровно в девять часов вечера Бахромов позвонил у входа в сад дачи Кенига.

Теперь ему все уже казалось происходящим не в действительности. Мысли становились неопределенными, не заканчивались и текли без связи по каким-то странным ассоциациям; обстановка теряла свою рельефность и казалась не рядом существующих предметов, а рядом понятий, означающих эти предметы. Но время не оставляло его, но делалось все сильнее чувство какого-то необъяснимого умиления и нежности.

В темноте сада вспыхнул бледный четырехугольник стеклянной двери, потом она звякнула; мелькнул мужской силуэт и по гравию захрустели шаги. У Бахромова сердце билось тяжелыми и медленными ударами.

— Боже мой, я иду к ней! — думал он, замирая и страдая от этих ударов.

— Кто там? — спросил слуга.

— Госпожа Амеги дома?

"Я спрашиваю: "госпожа Амечи дома", — пронеслось в его мыслях. Он дрожал от необычности и точности сладкого предчувствия.

Слуга увидел, что Бахромов одет так же, как господа, приходившие на дачу: Бахромов был в белых брюках, темном пиджаке с цветком и белой шляпе.

Ничего подозрительного слуга не заметил и, конечно, ничего и не мог подозревать.

— Я сам пройду к ней. Она знает, что я должен быть сегодня у нее. Куда идти?

— А как доложить?

— Скажите, из театра "Трокадеро". По делу.

Бахромов последовал за слугой. Он был полон восторга, как будто исполнилось то, о чем он думал, как о самом невероятном и неисполнимом.

Слуга включил свет в передней, похожей на фойе маленького театра, потом, щелкнув за портьерой выключателем, пропустил гостя в следующую комнату. Здесь стояла мягкая мебель в одном углу, а ближе к двери — пианино с фарфоровыми безделушками. Бахромов испугался так, что даже в ногах стало тепло и тяжело: сверху, как будто не со стены на расстоянии, а почти подступив к самому его лицу, или точно выйдя из него самого, глянул на него из темной широкой рамы портрет Лины Амеги — чуть повернутая голова над чудесными обнаженными плечами, отороченными воздушным мехом. И опять нежность подступила к его горлу.

— Что я делаю, Боже мой! — подумал он.

Потом за дверью он услышал голос, давно не слышанный, но все время звучащий в глубине его сознания, голос, немного грубый, но до слез казавшийся ему милым.

Тогда он сказал:

— Госпожа Амеги?

— Да, да.

Дверь напротив него приоткрылась и, освещенная позади, выглянула женская головка в подстриженных волосах, похожая на голову средневекового пажа. Он сделал шаг вперед. Слуга, как воспоминание, проплыл мимо него. Ему захотелось сесть на землю, и глупо, по-индюшечьи, заболтать языком.

— Все равно конец... Чего же бояться? Лина, Лина, Лина... — мысль разрывалась, взлетала и хлопала, как бич.

— Что угодно?

Он стиснул зубы и быстро подошел к дверям. В эту минуту были перед ним только ее глаза, и он был поражен, увидев их так близко. Это был первый раз за два года. Он не знал, что они так прекрасны.

— Я... — хотел он что-то сказать, но не окончил.

— Что такое! — вскрикнула она с испугом.

Бахромов достал револьвер и сказал:

— Не смейте кричать.

Она поднесла руки к лицу. Он увидел так же близко ее пальцы с розовыми полированными ногтями.

— Я не грабитель... Я... пришел посмотреть вас. Я сегодня застрелю себя...

"Я не так действую", — подумал он и потом сказал резким голосом:

— Зайдите в комнату!

В последующую минуту они были уже за дверью. Он закрыл ее за собой. Это была спальня. Он увидел, не понимая и думая о ее склоненной спине с белым вырезом в лиловом шелке, — две кровати посередине, зеркальный шкаф и туалетный столик, где, искрясь, поблескивали флаконы.

Оттого, что он видел обстановку, в которой она жила, и оттого что она была так близко и в его власти, он испытывал такое счастье, что все в нем ликовало.

— Чего вы хотите? — спросила она со страхом и возмущением.

— Вы не помните меня?

— Нет.

— Я студент Бахромов, которого вы называли белой мышью.

— Не помню.

— Я люблю вас в течение двух лет. Сегодня последний мой день. Неужели я не имею права перед концом увидеть вас близко? Садитесь сюда.

Она села на мягкий диван с вышитыми хризантемами, похожими на звезды.

— Если бы вы знали, какую радость я испытываю сейчас.

Она улыбнулась. Студент видел ее профиль на фоне спинки дивана.

— Мне хочется взять ваше лицо в руки, поднести близко и смотреть целую вечность. Если бы вы знали, как я тосковал.

Он говорил, как будто сам с собой.

— Вы в лиловом платье. У вас сейчас, в таком положении, вырез на груди меньше, чем на спине. От вас тянет запахом изумительных духов. Как они называются?

— "*Lor Coty*". Она засмеялась.

— "*Lor Coty*", — повторил студент, как слова молитвы, Он и сам улыбался, как будто ему казалось, что красавица к нему благосклонна. Он был у наивысшего предела восторга. Он боялся проснуться,

— Лина Амеги, Лина, Лина, тоска моя, любовь моя, — говорил он, склоняясь к ее рукам.

— Вы не похожи на белую мышь, — прозвучал ее голос, от которого у него сжималось горло, и дрожь, сладкая и замирающая, проходила по спине, — у вас умные глаза, только вы смешной мальчик.

Перед глазами у него были ее колени.

— Не похож? Значит, мне можно жить?

Он поднял голову. Она улыбалась, глядя на него нежными темными глазами.

Потом он начал, захлебываясь и чуть не плача, говорить о своей любви, сбивался, цитировал стихи, вспоминал детство и, говоря, следил за собою и чувствовал, что, несмотря на несвязность и торопливость его речи, выходило необыкновенно хорошо.

Она слушала внимательно и серьезно смотрела прямо в его глаза. Когда он умолк, она коснулась его лица рукой и сказала:

— Вы меня любите, но я не люблю вас. Я сейчас в вашей власти, вы можете сделать со мной, что хотите. Вы можете овладеть мной. Но все равно, — ведь любви моей вы не узнаете.

Студент не знал, что говорить.

Револьвер был уже в ее руках. Бахромов хватился, а она, улыбаясь, отвела его руку.

— Нет, не пугайтесь. Я хочу хоть немного сделать вас счастливым.

Потом случилось нечто невероятное. Он видел, как Лина поднялась и быстро начала раздеваться. Лиловый шелк, хрустя и изламываясь, шелестел у ее ног, затянутых в черные блестящие чулки и как будто сделанных из железа, пахнули кружева, завились банты, тонкие и гибкие руки взметнулись, — и Бахромов увидел обнаженную женщину в мягком желтоватом полумраке, наполнявшем комнату, с запрокинутым лицом и руками, упертыми в узкие бедра.

Студент лежал у ее ног в мягких шуршащих тканях, одурявших его своим ароматом, и плакал, говоря несвязные слова. Потом он протянул руки и скользнул по ее коленям, испытав незабываемое и единственное в его жизни ощущение...

Она сказала:

— Теперь хотите умереть?

Она смеялась.

— Уходите. Берите ваш револьвер. Можете рассказывать кому хотите, все равно никто не поверит.

Она набросила халат, запахнулась в него и, улыбаясь, смотрела на студента.

Бахромов не помнил, как вышел, как очутился в саду и за калиткой. Револьвер остался наверху.

Он вдруг вспомнил, что написал многим последние письма, и представил свое смешное положение. Он поплелся через дорогу, где вязли ноги в асфальте, и повторял про себя: "Меня мачеха убила, съел отец меня потом"...

Потом остановился и сказал, почти крикнул:

— К черту!..

Он не знал, к кому это относилось, но еще раз повторил ругательство. И вдруг подумал:

— А что же теперь делать? — и не нашел ответа.

Огоньки. № 23, суббота, 19 (6) октября 1918

Ветер

День молодого ветра. Сумасшедший, шумный, стремительный, как только в апреле и ранней осенью.

Заря желтая. Дома шатаются. Извиваются проволоки. Все летит, торопится. Один я стараюсь не поддаться общей инерции. Трудно. Особенно

на мостовой. Налезают лошадиные морды, стреляют бичи, ревут автомобили. Со всех сторон — огнедышащие пасти, красные и золотые огни трамваев, мечутся пешеходы, бьют по лицу полы пальто, взлетают, кружатся, разбиваются стуки, звоны, слова, принесенные ветром издалека.

Почему-то колокола гудят. Пароходы поют. Пахнет мокрой землей и опавшими листьями.

Канотье в неудержимом беге подпрыгивает по камням. Трах-трах-хлоп! Остановилось возле башмачков красавицы. Молю Бога, чтобы ветер взметнул ее платье. Взметнул! Ай, спасибо!.. Очаровательная ножка! Закройте скорее, поправьте!

Одной рукойхватила за шляпу, другой ловит развевающийся подол платья. Название: "Ветер". набросок модерниста.

А все-таки грустно. Бог его знает, грустно — и приятно. Приятная жалость к себе — чувство от детских лет.

Мне не грустить надо: тосковать, мучиться. Вспоминаю. Такое положение, что трудно описать, чтоб было понятно. Я ведь не снизу смотрел, а профиль ее был на фоне черного картонного неба. И почему звезды были видны, хотя слепил розовый дуговой фонарь? И где фонарь — над вывеской, а профиль низко, — но как будто от них пол-аршина расстояния. Один момент на ходу — потому все смешалось и запомнилось в своем перемещении относительно меня. Это было неделю назад. Позвольте, как она была одета? Ну, этого не забудешь. Совсем не похоже на амазонку, — а вот почему-то запомнилась как амазонка. Импрессионизм!

Черное платье. Какое-то плотное, но не тяжелое, видно. И идет же ей, когда талья схвачена... А какая она тонкая в нем. Как девочка! Узкий мыс тела. Вырез спереди больше, чем на плечах.

— Вероника. Определенно золотое имя. Не объяснишь. Я подписался под письмом так: "не забывайте"... и затем имя и фамилия в родительном падеже. Письмо дурацкое, влюбленный лепет, хоть, напившись в "Гамбринусе", и говорил, что не письмо — а молитва. Ах, мальчишка, мальчишка!..

В лицо сыплются мелкие капельки, и рукава становятся мокрыми: сырость, от которой и холодно и жарко в одно время.

Вероника — это та, которую я люблю, и которая меня не любит. Вероника, из-за которой я застрелюсь. Не застрелишься. Разговорчики. Так просто — театр для себя. Есть и тоска, и горечь, и мысли о смерти, но что-то есть сильнее, что смеется. Ну да, молодость. Значит, в молодости ни радость, ни боль не искренни?

Уже совсем темно. Зари нет. Ветер, ветер!

Какое-то предчувствие. Начало каждого сезона — время предчувствий. Чего еще ждать — Вероника на письмо не ответила. Может, не получила? — Получила. Недаром глаза прищурила, когда встретились.

Чего я хочу от Вероники? Прежде всего, я ее люблю. Ну, если любишь, значит радуйся, что видишь хоть издалека. Написал письмо, следовательно, одной приглядки мало. А что же нужно? И снизу, Бог весть из каких глубин сердца просасывается нехороший, но такой истинный, такой живой ответ — нужно касаний.

Касаний? Значит — похоть! А любовь? Ведь я ее люблю. Или похоть и любовь одно и то же? А может быть, похоть, которая возникает при любви, уже не похоть? Но все-таки, все-таки все сводится к касаниям! Черт возьми — ясно, что так и должно быть; это от природы, от души и плоти. Похоть, и великолепно! Разве я осквернил бы свою любовь, обладая Вероникой, — а обладая Надькой, я оскорбляю похоть. Потому что Надьки я не люблю. Тонкое различие — похоть любящего и похоть нелюбящего. Философия!

Улица Памятника. Любимая моя улица. О, этот мост! Какая чудесная ограда. Когда идет снег, то если смотреть через нее, дома вдали, повисшие над узкой старинной улочкой, напоминают обложку сказок Андерсена.

Здесь меньше пешеходов, но зато листья, листья! Летают, мечутся, шуршат под ногами... А возле обочин тротуаров от них мягко ступать. Иногда, осенью, бывает так: вчера еще улицы были чисты, а выйдешь утром — и все желтое от листьев, точно за одну ночь аккуратно осыпались порыжелые и сухие.

Вдруг сердце падает — момент небытия, и сразу застучало, как молот. Да, да! Нет, не можете быть! Она! Она! Она!

О, улица нечаянной радости!

Встретил. — Где? Когда? Кто бы ожидал... Сердце... Сердце...

Идет из темноты Вероника. Ликую и страдаю. От счастья и испуга. Всегда пугаюсь, когда вижу ее. Почему?..

Прыгнули дома, упал памятник, поплыли огни.

— Здравствуйте!

— Здравсс...

Боже мой, лицо! Удержать — удержать... еще! еще! Куда там!

Оглянулся. Вероника... Желтый непромокаемый плащ и поблескивающая небольшая шляпа, даже не шляпа — что-то вроде шапочки с бархаткой вокруг лица... Идет, отводя руку в сторону.

Боже мой, как стучит сердце. Лопнет. Сказала "Здравсс"...

Остановился. Повернул за ней. Заметит! Скажет:

— Какого вы черта лезете! Письмо какое-то! Слежка! Мальчишка! Я на вас плевать хочу!

Осторожно ступая, прячусь в темноте. Зрение морского волка. Держусь на расстоянии полуквартала. Иногда кажется, что потерял. Нет, вот она. В полосе света.

Ах, эти прохожие, ах, этот ветер... Все мешает, путает, крутит перед глазами...

Куда она идет? Ах! Неужели, в драму? Одна! А вот не встретил бы, болтался б по улицам, не знал бы, а так проведу изумительный вечер — вечер с Вероникой. Звучит громко! Можно подумать, что сидеть буду с ней рядом, разговаривать, а потом домой провожать в пролетке. Да, как бы не так. Во-первых, она будет сидеть, вероятно, в четвертом-пятом ряду, а я — в конце. Буду дожидаться антрактов, чтобы видеть ее ближе, где-нибудь в фойе, когда все прогуливаются.

Театр уже в огнях. Масса публики у портала. Как она быстро идет! Вечер с Вероникой — это как во сне. Увижу, значит, ее без шляпы. Наверно, платье какое-нибудь нарядное, оголенные плечи и руки такие особенные, театральные. Женщины в театрах всегда какие-то особенные.

Вдруг неожиданность. Есть две подряд небольшие темные улицы, не доходя театра, с дурной репутацией. Женщина с подведенными глазами, удивительная женщина, взглянула на меня так, что сладко в спине стало. Ветер повернул ее и обтянул ноги платьем. Ноги! Ноги!

— Во рту высохло. Конец.

Вероника поднялась по ступеням. Входит.

Останавливаюсь. Женщина тоже. Денег у меня хватит. Разорюсь окончательно.

— Смотрите, ветер унесет! — говорю я глупыми тоном под денди.

— Спасайте, — отвечает женщина.

— Идите за мной.

Она смеется. Какая интересная! Наверно, из дорогих.

— Вы похожи на мою первую любовь! — это я говорю обычно таким женщинам.

Она улыбается крашеным ртом.

— Знаете что? Идемте в театр.

— Не стоит.

— Почему?

Беру ее под руку. Пальцы скользят по шелку от локтя к ладони.

— Идем, идем... Не разговаривайте.

Она уже прижимается тесней. О, эти мурашки по спине!

Заходим в вестибюль. Ищу глазами Веронику. Вот! Уходит? Что такое... Куда? Ах, вот этот господин, который с ней повсюду. Подошла к нему.

— А у тебя кокаин есть? — спрашивает моя дама шепотом.

Я не отвечаю. Прислушиваюсь к разговору тех двух. Боже мой, что за голос у нее!

Она спиной ко мне. Господин значительно выше ее, улыбается, глядя сверху.

— Что за интерес! — голос Вероники: — билетов еще не брал?

— Нет.

— Великолепно. Идем в "Нетопырь".

— А! — отмахивается.

— Ей-богу, там лучше!

Я вижу, как они уходят. Рука, отведенная слегка назад, бархат вокруг лица, красные уголки глаз. Не видела.

— Идем лучше в "Нетопырь", — говорю я.

— Морочишь голову.

Она сразу переходит на ты. У нее чудесное углубление между лопаток. Видно в вырезе. Как хорошо поцеловать туда.

— Как тебе не холодно в шелке?

— Сердце горячее.

Ответ, которого я ждал.

Идем в "Нетопырь". Веронику потерял из виду.

Программа уже началась, в кассе только билетеры. Покупаю два билета третьего ряда. Входя в темный зал, стараюсь рассмотреть публику. Садимся. У нее мокрый большой рот, поблескивает в темноте от света со сцены. Предвкушаю — и замираю весь.

Номер окончился. Лиловый занавес упал, рампа вспыхнула. Хлопают. Оглядываю зал. Еще раз. И еще и еще. Нет! Черт возьми, куда они ушли?..

— Ты мне нравишься! — голос низкий и щекочущий мне горло. Сжимаю ее руку. Вся проринает.

Где же Вероника? Нет, нет и нет.

Выходит молодой человек со стеклышком в глазу, осторожно минует суфлерскую будку, волнуя сверху донизу занавес, и начинает:

— Итак, сейчас вы видели...

Неужели они и отсюда ушли?

— Только хлопайте, сильнее, — оканчивает и скользит за занавес.

Глупо сидеть здесь. Лучше пойти ко мне.

Дома деньги: пошлю за вином, фруктами и сладостями, устрою нечто невероятное. Почему уже не досадно на Веронику?

— Плюнем на это дело. Скука.

— А? — она говорит, — а, — нежно склоняясь ко мне.

— Скука. Идем ко мне.

— Вот невозможный!

— Дома кокаин!

— Ну?

— Честное слово.

Встаем и уходим из зала. В фойе сталкиваемся с Вероникой и ее спутником. Что это! Боже мой, что она подумает! Ведь это сыск — куда она, туда и я. Сейчас скажет ему, а он как трахнет меня палкой по голове: не бегай, мальчишка, за Вероникой Станиславовной.

Посмотрела на меня серьезно и, Боже мой, недовольно.

Что делать? Назад в "Нетопырь"? Что тогда подумает эта в черном. Еще скандал поднимет? Бросить ее здесь и остаться, или вести к себе?

Они берут билеты. Вероника почему-то хохочет.

Вечер с Вероникой или это углубление между лопаток?

— Чего же ты стал? — спрашивает она. В это мгновение я замечаю, как черный шелк на груди у нее возле выреза чуть отстает над телом и образует пленительную темноту, где я вижу кружево. Конец.

— Как тебя зовут?

Она отвечает:

— Валя.

Я начинаю дрожать. Приятная дрожь, от которой трудно говорить.

— Валя, ты меня любишь?

Глупейшие разговоры.

Приходим ко мне. Хозяев квартиры нет: тем лучше. Я иду за вином. Покупаю две бутылки удельного, груш и винограду.

Весело проводим время.

Вот и говори после этого о подвигах любви, о прекрасных дамах, о тоске, о том, что в огонь попадаешь из-за нее... Чепуха.

Я записываю в дневник:

"Я страдаю. Никак иначе нельзя назвать то, что я испытываю от неразделенности моей любви.

Но возможность близости к интересной и доступной женщине сделала так, что я потерял счастливый случай видеть целый вечер ту, которая

мне дороже всех людей. Закключаю: молодость не может ни любить, ни ненавидеть. Любовь молодого человека — это наиболее ярко выраженное желание. Почему-то думают, что чистая любовь свойственна юношам. Ничего подобного!"

Огоньки. № 25, суббота, 2 (20) октября 1918

Публикация Алены ЯВОРСКОЙ

